

# Новая Польша 6/2006

## 0: ПОЛЬСКИЙ МИФ 1956 года

Публикация составлена на основе устных интервью с бывшими диссидентами и политзаключенными, записанных в 1992-2006 гг. в рамках авторского проекта «Диалог: польско-советские диссидентские и культурные связи и взаимовлияния».

Июньские рабочие волнения 1956 г. в Познани, появление на польской политической сцене Владислава Гомулки, октябрьский пленум ЦК ПОРП, развитие польского ревизионизма, расцвет польской прессы и кино — все события польской истории 1950-1960-х годов имели особое значение для определенной части оппозиционно настроенной интеллигенции в бывшем СССР и эволюции ее взглядов в отношении собственно российской действительности.

Мифология Польши как инициатора ревизии социализма и центра либеральных идей внутри советского блока — по нашему мнению, одна из важных составляющих общественного сознания второй половины 50-х годов, оказавших влияние на развитие независимой мысли в СССР.

\*

**Ирэна Вербловская:** В середине 50-х угол Невского проспекта и улицы Бродского, рядом с гостиницей «Европейская», стал очень важным местом. Человек двадцать-тридцать там ежедневно стояли в очереди в газетный киоск, дожидаясь, когда подвезут прессу соцстран. Расхватывали кто какие. Вначале совершенно не брали венгерских газет по причине незнания языка, но наступил октябрь 1956-го, и венгерские тоже стали разбирать. А в ближайшем сквере на площади Искусств их разворачивали и «соображали на троих» — кто сколько слов знал, и так переводили, — совершенно незнакомые друг другу люди. Я не могу сказать, что все подряд читали польские газеты, такого не было. Но мы очень жарко обсуждали все, что там происходило.

Мы успели выпустить шесть или семь номеров «Информации». С польского большинство переводов делала я, некоторые — Эрнст Орловский и даже сам Револьт Пименов. Размножали их на печатной машинке. В них были различные сведения и факты, о которых умалчивали советские средства информации. И польская пресса была для нас одним из самых важных источников. Польский язык я начала учить задолго до этого, когда в университете выбрала себе специализацию по истории польского рабочего движения. Я довольно хорошо знала историю Польши, всегда ею интересовалась.

**Нина Катерли:** Мне запомнились те события, которые предшествовали венгерским событиям 1956 года, когда в Польше начали делать «социализм с человеческим лицом». Но быстренько это было все задавлено. (...) Но я тогда как-то в этом участия никакого не принимала, то есть не пришлось мне ни подписать какого-то письма или чего-то сделать. Польскую прессу я не читала. Желание выучить польский было (все-таки моя мать, Елена Катерли, — поляка: ее отец, мой дед, — поляк), но дальше этого желания дело так и не пошло.

**Рудольф Борецкий:** Если посмотреть на польскую послевоенную историю, то очень важным фактором было то, что, пожалуй, она единственная из так называемого соцлагеря не поддалась повальной коллективизации. (...) Польский крестьянин не позволил себя загнать в концлагеря колхозов, и в Польше осталось почти на 90% индивидуальное частное сельское хозяйство. Это была огромная победа в 1940-е годы. Потом познанские события 1956-го — первый звонок, который показал, что могут поляки. Для меня 1956 год еще не был как-то значим, потому что в то время я был еще ребенок, слишком молод и зелен для того, чтобы как-то это через себя пропустить, прочувствовать. Но вот все последующее в 70-е было уже серьезно и значимо.

**Юлий Ким:** В 56-м, нет, я не помню какого-то особого интереса к событиям в Польше. Я помню, что сначала мне очень нравился Гомулка. Понятно, что он нравился на фоне — на фоне наших ветеранов мавзолея и на фоне Берута. Конечно, он смотрелся либеральнее. А потом разонравился. Когда я узнал, что он охотно согласился с гонениями на евреев в Польше, его обаяние померкло.

**Кронид Любарский:** Начиная с 1956 года я воспринимал эти события так же, как любой среднестатистический интеллигентный, либерально настроенный человек. Ясно, что с сочувствием, ясно, что с поддержкой. Ясно, что волновало, выйдет или не выйдет. Но не более того. (...) Всем нам 1956 год запомнился Венгрией скорее, а не Польшей. Как-то Польша была довольно маргинальна. Тем более что информации было очень мало. Тогда еще

советская была информация. Но настоящим шоком, настоящим ударом были события венгерские, безусловно. Многие читали польскую прессу, но я по-польски не читаю. В июне 1956 года я окончил Московский университет, три месяца пробыл в том городе, где я жил [в Симферополе], а в сентябре уехал на работу в Ашхабад. В Ашхабаде уже польская пресса была недоступна. Она была только в Москве доступна, и то с трудом, она не лежала буквально на каждом углу. А уж в провинции ее было вообще не достать. (...)

Не помню никакого очарования Гомулкой. Ну да, какой-то чуть более либеральный. Вообще любая перемена всегда хороша. Но очарование им, по-моему, относится к разряду легенд.

**Лев Краснопевцев:** Летом 1956 г. мы отправились с большой группой студентов убирать урожай пшеницы в Казахстане. И тут произошли все эти события в Познани. Но о них информация была лишь самая официальная. Правда, после познанских событий произошло изменение в руководстве.

Пришел Охаб, была такая промежуточная фигура. Летом в Венгрии и Польше после XX съезда обстановка становилась все более накаленной, и в партии пытались как-то ее снизить, убрали старых секретарей. Ракоши был убран в Венгрии, и на его место пришел некий Гере. А Имре Надь стал председателем совета министров. И такое же обновление было произведено в Польше. Циранкевич остался, а вот первым секретарем стал Охаб. Это довольно бледная, такая центристская фигура. Он пытался как-то овладеть положением и что-то изменить в Польше, но положение накалялось, и в сентябре, по-моему, все это дело взорвалось, вспыхнуло, и произошел пленум знаменитый, — или все-таки в октябре, в начале октября, — который вернул Гомулку в ЦК, Зенона Клишко в профсоюзы. Спыхальский вернул в свои руки армию. Полетел Берман, полетел Минц из промышленности. И кто-то там еще из гомулковцев занял эти ключевые посты в руководстве экономикой. Новак куда-то вылетел, конечно. Хотя там было два Новака, один из них остался. В общем, произошли вот эти бурные события. И, естественно, все мы были очень рады. Гомулка вернулся почти из тюремной камеры или прямо из тюремной камеры. Все понадеялись, что случившееся не прошло ему даром, что он многое изменил в своих взглядах, в своих настроениях (Польша, насколько я понял по беседам с [Элигиушем] Лясотой, была в восторге от Гомулки еще летом 57-го). Потом произошли известные венгерские события, которые поставили перед нами всеми вопрос очень круто. Когда стало ясно, что пролилась кровь, что наша армия раздавила национальное выступление, мирное совершенно, национальное выступление венгерских демократов, раздавила традиционным, самым зверским, кровавым образом, то после этого мы не могли, конечно, оставаться, сохранить свое старое положение в существующей системе. Нашим иллюзиям пришел конец. Я тогда отказался от всякого продолжения своей комсомольской деятельности.

**Александр Лавут:** С 56-го я регулярно читал польские газеты. В то время там была большая заварушка, в результате которой пришел к власти Гомулка, — первое очень заметное обновление в соцстранах, многое там стало другим. Особенно это было видно по газетам. Я стал выписывать и читать их, вначале — что попало, а потом уже регулярно читал «Политику». Из разных публикаций знал, что одним из самых популярных изданий был журнал «По просту», но его здесь не было, да и просуществовал он очень недолго: либеральный по меркам того времени Гомулка его быстро закрыл. А «Политика» хотя и была партийной газетой — ее издателем считался ЦК ПОРП, — но с очень широкой информацией и свободой изложения, сравнимой с нашими изданиями 1987 года. Читая, я начал понимать и устную речь. И потом уже все время старался следить за тем, что происходило в Польше.

Массового интереса к польским событиям 1956 г., тем более массовой полонофилии, в то время я не наблюдал. Круг интересующихся был достаточно узким — в основном интеллигенция. Их радовали те изменения, которые происходили в Польше, Венгрии, позже в Чехословакии. В подцензурной литературе и публицистике в то время польская тема не могла найти адекватного отражения, а самиздата почти не существовало.

**Борис Пустынцев:** Это было невероятно интересно. Практически мы знали, стремились знать всё о тех событиях, пристально следили за ними. Это казалось началом трансформации большевистского режима. Польша всегда была оплотом оппозиции русскому режиму: и до большевизма, и после. Сравнительно большая страна с развитой культурой, не Болгария и не Венгрия по масштабу, такой перекресток Европы — Восток—Запад. А в 56-м Польша воспринималась как островок если не свободы, то полусвободы. Не политической — политические различия были незначительны между нашим режимом и польским, по сути это было одно и то же. Но атмосфера в обществе, этот вольный дух, присущий Польше, заражали и притягивали.

Мы прекрасно знали польскую историю. Отношение к Польше, к другим соцстранам — это, по-моему, очень важная составляющая часть мироощущения человека. Имперский период я перерос, когда мне было лет 14-15. Года через два я совершенно серьезно воспринимал лозунг «За нашу и вашу свободу», понимал, что мы делаем одно общее дело — их оппозиция режиму и наша. Борьба Армии Крайовой с советской оккупационной армией для некоторых из нас, для меня в частности, была примером, моделью. Я постоянно слушал Би-Би-Си на

английском и всю ситуацию искренне воспринимал с подачи Лондона. Я был белой вороной среди своих приятелей, ориентированных на прогрессивную модель социализма, потому что мне было интересно все, что касалось польского правительства в Лондоне, армии Андерса, гражданской войны в Польше после 1944 года. Я проникся польским духом сопротивления, у меня был мощный комплекс вины уже тогда, не только перед поляками, но и перед другими народами, которым мы учинили столько кривды. Он основывался главным образом на знании истории: я знал, что эти страны оккупированы моей армией. Нет, я не считал ее своей, я всегда говорил «они», а не «мы». Но я ведь не выступал против этого — значит, был соучастником.

Тем летом события в Познани стали импульсом, каким-то поворотным моментом для меня и моих друзей. Они показывали, что нынешний режим не навек: в цитадели появились трещины — значит, можно пытаться расширять их, ломать ее дальше. Мы решили тогда, что надо пытаться что-то сделать. В наши 20 лет это выглядело вполне естественно: казалось, всё можно изменить. Правда, быстро пришло понимание того, что мы в этой стране совершенно одиноки.

**Владимир Гершуни:** Очень важными для меня были встречи с поляками в лагере. Среди них встречались такие, кто в полной мере соответствовал выражению «гордый поляк». Независимые, с развитым, не сравнимым с нашим, чувством собственного достоинства. Там были разные люди, из разных сословий и поколений, но всех отличало чувство собственного достоинства и способность до конца сопротивляться.

Освободился я в 1955-м. Когда через год в Польше началась революция, я был внутренне совершенно готов к этому, я как будто бы ждал чего-нибудь подобного именно от поляков. В тот год родилась острота, потом применяемая и к другим странам восточного блока: «Польский барак — самый веселый в нашем лагере». Очень воодушевляли художественные выставки, где поляки первыми стали выделяться своим авангардом. Мы сразу почувствовали: жизнь там пошла веселее, чем у нас. Хотя очень быстро начался откат, Гомулка дал погулять всего несколько месяцев. Я помню его слова: «Пора за работу, хватит митинговать». Рассказывали, что он не любил театра, плевался и чертыхался, когда бывал на спектаклях. Это был тупой, черствый функционер, замкнутый в партийных делах, интригах и дрызгах, совершенно чуждый культуре. Он очень напоминал этим Никиту. Тем не менее именно со стороны Польши в то время мы получали не только информацию о последних художественных течениях, но и наглядные примеры развития современного искусства.

**Сергей Ханженков:** В 56-м моим родителям разрешили выехать с Колымы «на материк». Наша семья обосновалась в Минске. Тогда я уже был законченным антисоветчиком. Открытое сопротивление коммунистической системе, к которому меня влекло, казалось еще чем-то немыслимым, просто самоубийством. Но уже не привлекали те формы скрытого противостояния, которые появились после «оттепели»: узкие брюки, джаз, кино и другие влияния Запада и Польши в частности. Все это казалось чем-то вроде фиги в кармане, и я смотрел на это несколько свысока. Поэтому польский ревизионизм того времени я не переживал как-то особенно ярко, и те события в Польше не стали значимыми для моей внутренней биографии. Если говорить о Польше, то намного важнее для меня был провал польской кампании Красной Армии в 1920-м. Большевики говорили тогда: «Варшава — Берлин — Париж!...» И тут — на тебе: вся страна поднялась, и армия Тухачевского была разбита — это меня восхищало. Идея «мировой революции» провалилась, и это, бесспорно, заслуга поляков, именно они тогда защитили Европу от коммунистического нашествия. Узнал я об этом достаточно рано. Все было прекрасно описано, хотя и старались многого не говорить: ведь это было крупным военным поражением. А «польский октябрь» был все же по сути попыткой реформировать существующую социалистическую систему, если не считать извечного стремления поляков к независимости.

**Николай Обушков:** В 1950-е годы горячий интерес к Польше был связан с поисками ответа на вопрос: что и как делать? У поляков мы искали образцов поведения.

Чрезвычайно поучительной была моя поездка в Польшу осенью 1956 года. Я был молод и энергичен, у меня было много интересов. Это был самый канун октябрьских событий в Польше и Венгрии. Я впитывал ту предреволюционную психологическую атмосферу — атмосферу предгрозя. Такое я наблюдал впервые. Дело в том, что как аспирант, начинающий научный работник, я очень интересовался июньскими событиями 1953 г. в Берлине. Но тогда мне еще казалось, что все это — действие «бывших» элементов, продолжение «фашистского похмелья». Так работала пропаганда. Но уже появились сомнения, не было полной уверенности в адекватности официальных советских оценок. Очень смущало активное участие рабочих. И тут вдруг в Польше я увидел совершенно незнакомую мне обстановку... Ведь у нас в Москве это был еще дофестивальный период: боязнь доносов, страх перед любым лишним словом, постоянная оглядка на совершенно реально существовавших тогда, открытых осведомителей — их полно было вокруг нас. А в Польше я увидел, что это уже не работает или на это никто уже не обращает внимания, что люди раскованы, внутренне свободны, вплоть до того, что свободно бросают лозунги, пусть наивные и неглубокие. Это была уже не иллюзия свободы, это были ее первые признаки,

заря свободы в обществе. И это очень сильно повлияло на меня. Появилось желание что-то подобное делать, чтобы достичь такого же уровня раскрепощенности общества у нас.

Особенно интересно было узнать, как молодежные группы готовят и разбрасывают листовки, организуют различного рода диспуты, встречи, маленькие митинги — словом, создают брожение в обществе. Я понял, что какие-то радикальные изменения — дело вовсе не легендарное, что это вот тут, в нашей среде, существует. Я увидел носителей этой идеологии, которые участвовали в подготовке революции и не гордились этим, а рассказывали обо всем так просто, как могли бы говорить, например, о том, как танцевали накануне с прелестной девчонкой. И меня всерьез заинтересовало то, как готовились молодыми поляками преобразования в обществе.

В то время я был морально готов вступить в какую-нибудь нелегальную группу или создать ее. Поэтому, когда вернулся, то буквально в течение пары месяцев мы с Краснопевцевым договорились о формировании своей организации. Потом я узнал, что речь шла о моем вхождении в уже реально сложившуюся или складывающуюся группу, а не о ее создании. И мое участие в написании листовки летом 1957 г. было связано не столько с ожиданием каких-то определенных политических сдвигов в нашей стране — я уже не был настолько наивен, — сколько был расчет на то, что наконец начнется что-нибудь подобное тому, что я видел в Польше.

На собраниях нашей группы я рассказывал о программных установках польской партии, о том, как они собираются реформировать польский социализм. Взгляды польских коммунистов, польский ревизионизм были очень сильным стимулятором нашего духовного развития, формирования нашей идеологии. Мы тогда считали, вслед за Гомулкой, и еще более вслед за радикальными деятелями типа Элигиуша Лясоты, что социализм можно и нужно реформировать, что есть возможности для этого. Пример Польши в 1956 г. был для нас доказательством.

В лагере от желания адаптировать польский опыт к нашим условиям я перешел к разработке какой-то системы взглядов, более ориентированных на ситуацию в нашей стране. Но и тогда их опыт преобразований в экономике, начиная с 1955-го до сегодняшних дней, остался ценным для меня, я часто использую его в своих работах.

**Марат Чешков:** Для советского студента — а я был обычным, средним советским студентом — проблемы традиций не существовало. Нам, историкам, вроде было бы и важно ее учитывать, но этого не происходило, насколько я могу сейчас реконструировать лично мои взгляды того времени. Мы активно интересовались политикой, были крайне политизированы. Но при чем тут традиции, когда нами владело сознание первопреходства, даже первородства? Мы всё начали сначала, мы не знаем, чем это всё может закончиться, как будет развиваться. Да, мы знали о польских восстаниях, декабристах, Герцене. Краснопевцев Ленина сопоставлял с герценовской традицией. Тем не менее для него эталоном оставался Ленин. Традиции оставались в области теоретического знания. Но это не касалось рефлексии. Всерьез к традициям стали обращаться тогда, когда стала более или менее вырисовываться и осознаваться химеричность тех наших марксистских иллюзий.

Учась в аспирантуре на экономическом факультете, я заметил, что в отличие от нашей любви к марксистской теории, умения разбираться в основных догмах, поляки старались отстраняться от этого, как бы не принимали такого теоретизирования всерьез. У нас, лично у меня, на этой почве возник комплекс превосходства. В среде советских ревизионистов он существовал весьма устойчиво и довольно долго. Нам казалось, что мы намного лучше владем марксистской теорией. Но это вызывало у поляков отнюдь не чувство собственной ущербности, а скорее иронию. Марксистские догмы они тогда не отвергали открыто, но как бы отодвигали их. Вот так: «Не столь уж это важно, в конце концов...» И очень часто уже тогда излагали новейшие западные идеи. Главный их вклад в том, что, оценивая с точки зрения эмпирической науки и с точки зрения реальности марксистскую истматовскую догматику, они снизили ее теоретический статус. Поляки очень много сделали для развенчания марксистских догм, вплоть до сведения их к идее бесполезности.

Для меня лично было важно развитие польских общественных, социологических наук. Польша выполняла роль не только некоего реле, передатчика западных идей в сфере общественных наук. Они в значительной степени прогрессировали в то время, по сравнению с нашими, и были очень важным источником в моей работе, а я все время занимался развивающимися странами. В каком-то смысле некоторые наши научные работники занимались тем, что перелагали идеи поляков для местного обихода. Многие мои друзья и коллеги по институту в разное время после 1956 г. пропагандировали польский опыт.

Польские события мы очень много и долго обсуждали до ареста и в лагере. Для нас стало очевидным, что сталинская модель социализма не воспроизводится в странах Восточной Европы, а именно в Польше и Венгрии, что она там потерпела поражение, и они будут искать свой, индивидуальный путь. Начиная с 1956 г. Польша интересовала меня в нескольких аспектах. Первый аспект: что вносят польские эксперименты, польский опыт в

модель социализма — критика сталинской модели, восприятие и попытка усвоения поляками югославской модели. Мы в то время считали, что именно югославский опыт был модельным.

Помимо внутренних польских преобразований нас интересовало развитие отношений Польши с Советским Союзом. Мы стали осознавать, что имеются основания для постоянно возникающих противоречий и непонимания, что польская сторона, начиная с руководства ПОРП, все чаще открыто выбирает позицию противостояния. Взять хотя бы положение перед октябрьским пленумом 1956 г. и сразу после него. Несмотря на то что отношения Гомулки и Хрущева впоследствии нормализовались, было впервые публично продемонстрировано не просто стремление к независимости, а открытое игнорирование установок Москвы. Это было большой победой Гомулки и необычайно подняло его авторитет в глазах поляков и всех сочувствующих польской революции.

**Вадим Козовой:** Для определенной части интеллигенции в Советском Союзе Польша с 1955-1956 гг. служила мостом в Европу, в европейскую культуру, начиная с культуры самой отвлеченной, культуры идей, вплоть до политической культуры. То, что было запрещено или не допускалось советской цензурой, доходило до нас в Москве через Польшу, через польские книги, журналы, кино и театр. Все это было на польском языке, с польскими акцентами и нюансами. И так получилось, потому что поляки добились сохранения относительной свободы в области культуры даже в период сталинского режима.

Нечто подобное происходило и в Венгрии, что-то там тоже печаталось, несомненно. Но, думаю, будет довольно трудно найти кого-нибудь в бывшем Союзе, кто бы впитывал все это в венгерской интерпретации.

Если говорить о кино, то в польском кино 50-х годов есть примеры подлинного искусства. «Канал» Вайды я впервые увидел в лагере — очень трагический, прекрасный фильм. Позднее в лагере нам показали фильм Ежи Пассендорфера «Покушение» — очень хороший фильм, снят в строгой, документальной манере. Уже тогда поляки умели делать отличное кино. В их фильмах остро и трагически был изображен конец целой эпохи, границей которой и стал, на мой взгляд, 1956 год.

В польских журналах я впервые прочитал многие философские труды, новейшие произведения западной литературы, стихи и романы, Фолкнера к примеру. Этого я не забуду полякам — в хорошем смысле, я им многим обязан. Я не просто следил тогда за развитием польской общественной жизни, культуры в особенности, — это было частью моего существования.

**Эрнст Орловский:** Именно к культуре — музыке, живописи, архитектуре — у меня интерес был небольшой. Не только польское искусство меня не интересовало, но и русское. Честно. На польское кино я, конечно, ходил, фильмы Вайды очень люблю. Но, скажем, намного важнее того же фильма «Пепел и алмаз» для меня была книга Анджеевского, которую я прочитал гораздо раньше... Вот книги — да! Совершенным потрясением для меня стало в 1956 г. заглавие одной польской книги, которую я увидел и сразу же купил: «Обзор боевых операций Войска Польского в 1946-1949 гг.». У нас никогда не бывало подобных книг.

Я старался следить за развитием польской литературы постоянно. Очень гордился, когда кроме газет смог осилить первую книгу на польском. Это был один из детективов Збигнева Ненацкого. Я стал выписывать журнал «Новые польские книги» (он выходил на русском языке), чтобы быть в курсе всех новинок. В журнале «Польша» тогда был опубликован отрывок из романа Казимежа Брандыса «Мать Крулей». Эту книгу я считаю особенно важной, просто необходимо перевести ее на русский. Это одна из немногих книг, где глубоко, талантливо изображена психология если не прямых виновников, то соучастников репрессий — партийных работников, авторов доносов и так далее. С тех пор Брандыс, скажу вам, важен для меня ничуть не меньше Льва Толстого. К ним двоим я обращаюсь постоянно. До сих пор мне кажется, что польская литература во многом глубже нашей с психологической стороны, там чаще и больше затрагиваются рефлексия, осмысление прошлого и настоящего. Мне очень много дали польские художественные, исторические и юридические источники.

**Юрий Левин:** Мои листовки назывались «Палачи из ЦК КПСС преподнесли себе достойный подарок». Сделал я их к «дню 39-й годовщины торжества палачей» [распространялись в Ленинграде 7-8 ноября 1956 года]. Прежде всего, в них шла речь о событиях в Венгрии. Но там была и такая фраза: «Кремлевские коммунистические вожди лили и продолжают лить кровь русского, польского, венгерского, румынского и других народов». Что значило для меня выражение «кровь польского народа»? Взять хотя бы события 1939-1940 гг., когда советские и германские войска разделили Польшу, когда советские войска захватили в плен значительную часть польского офицерства, а потом Сталин дал указание уничтожить этот цвет польского офицерства. Кроме того, я знал, что во время Варшавского восстания сталинское руководство не предприняло никаких мер в поддержку, а дождалось, пока гитлеровцы разгромят его. Хотя советские войска находились очень близко от Варшавы. Это я знал из передач Би-Би-Си например — от других источников мы были изолированы. Эту информацию приходилось

принимать сквозь глушилки. Или вот по радио «Свободная Россия» — это радио НТС, оно, уходя от глушилок, меняло волну. Приходилось подстраиваться, искать. (...) Я записывал передачи Би-Би-Си и «Свободной России» на магнитофонной приставке, потом расшифровывал. Несколько тетрадей с расшифровками этих передач стали следующим пунктом обвинения после листовок. (...)

Единство польского народа проявилось в 1956 году в восстановлении демократических норм. Выступали журналисты против цензуры. В Польше возродилась адвокатура. Раньше политические процессы проходили за закрытыми дверями, а тут появилась гласность. Даже польские чекисты выступили за независимость от КГБ СССР. Это отмечалось в зарубежных передачах в 1956 г. после выступления Гомулки. То есть все то, что у нас появилось намного позже, в конце 1980&